

Г Л А В А I

Я проснулся в семь утра в своем номере в “Гритти” от телефонного звонка. Звонил Дули — он хотел меня видеть. Срочно. Меня покорило повелительный, не терпящий возражений тон. Мы оба входили в Международный комитет по спасению Венеции. Споры нет, город дождей неуклонно опускается на дно, но все же не так быстро, чтобы нельзя было немножко потерпеть. Заседание Фонда Чини было вчера, но Дули на него не поспел, потому что, сказал он, из-за последних терактов в Италии объявили всеобщую суточную забастовку и его самолет не смог взлететь.

— Ни одного диспетчера на вышке, даже вертолеты не летают. Пришлось оставить “боинг” в Милане и сесть в машину.

Я прикинул время и назначил ему свидание в баре в половине десятого, гадая, чему обязан столь высокой честью. Я почти не знал Дули и не рвался с ним общаться — мы жили в разных измерениях. Джим Дули получил в наследство одно из самых крупных в Америке состояний.

Первый раз я увидел его в Санкт-Морице на соревнованиях по бобслею, в которых участвовали и мы с сыном. Ковбойская статья, светлые, чуть тронутые сединой кудри, на удивление свежее — для плотного мужчины за пятьдесят, — ничуть не расплывшееся лицо, неизменная бодрость духа и веселый нрав — все это вызывало во мне легкое раздражение, ведь не только хорошенькие женщины завидуют друг другу. Один вид этого заядлого жизнелюба говорил: вот абсолютный чемпион мира по всем земным удовольствиям; и почему-то его колоссальные успехи, сам их размах, словно бы умаляли мои собственные и даже делали бессмысленным мое существование. Никому из людей не дано дорасти до той величины, которой они мечтали достигнуть. Дули же, судя по всему, игнорировал этот закон жанра. Вот уж колосс так колосс! Правда, что касается роста, лично я не разделяю восторженного отношения к верзилам, которое со времен Гомера проявляло хилое человеческое племя. Но Дули представлялся мне серьезным соперником на другом поприще — в борьбе за титул самого большого счастливчика. Когда этот детина в красном свитере встал, закончив дистанцию, снял шлем, обвел взглядом зрителей и разразился победным смехом, как будто он прирожденный повелитель мира, меня охватило противное чувство собственной приниженности — не потому, что он меня обогнал, а потому, что рядом с этим американцем я словно *уменьшался* в собственных глазах, а он чрезмерно, так, что мне не дотянуться, *разрастался*. И я ничего не мог поделать с этой безотчетной брезгливой неприязнью, имевшей едва ли не политический оттенок. В тот же вечер в гостинич-

ном баре я встретил знакомую журналистку, и ей за чем-то понадобилось рассказать мне, как она “брала интервью” у Дули на его яхте в Сен-Тропе и он “всю ночь, как заведенный! Я уж не знала, как его остановить”. Обычно такие откровения равносильны подстрекательству помериться силами с героями и показать, что ты и сам не промах. Но я тогда еще был сравнительно молод и не нуждался в том, чтобы мою уверенность в себе поддерживали женщины, она отлично держалась сама собой. Мне всегда нравились запретные сады и замкнутые миры. Чтобы все сохранялось в глубокой тайне, в которую посвящены лишь двое. Если же начинаешь заботиться о “репутации” в этой деликатной области, считай, чуду конец. Настоящая обитель любви всегда спрятана от посторонних. Хотя верность для меня — не контракт на эксклюзивное право, это понятие, стоящее в одном ряду с преданностью и душевной близостью. Однажды в мае 1944 года, незадолго до высадки союзников, мой “лайсендер” ткнулся носом в землю во время взлета с партизанского аэродрома, и я здорово расшибся. Меня перенесли на ближайшую ферму, и вот не прошло и часа, как Люсьена, моя тогдашняя подруга и соратница, уже сидела у моей кровати. Ее буквально трясло, а я не понимал почему: не так уж страшно я разбился. Тогда она рассказала, что телефонный звонок с известием об аварии застал ее в гостиничном номере, когда она собиралась лечь в постель с моим другом. Услышав же, что случилось, она, не тратя время на объяснения, бросила его и помчалась ко мне. Вот это я называю верностью: когда человек жертвует удовольствием ради любви. Хотя допускаю, что кто-то другой мог бы, на-

оборот, усмотреть в таком поведении измену. Возможно также, что в моей психике уже тогда наметилась какая-то трещина, которая потом все углублялась, пока не довела меня до нынешнего состояния. Не знаю... впрочем, я не ищущ себе оправданий. То, что я пишу, — не речь в свою защиту. И не призыв о помощи, засовывать эту рукопись в бутылку и бросать ее в море я не собираюсь. С тех пор как человек научился мечтать, призывов о помощи и заброшенных бутылок накопилось столько, что, право, удивительно, как это еще кое-где осталось чистое море, как это оно все сплошь не запружено бутылками.

После той первой встречи с Дули я постоянно наткался — и чертыхался про себя — на его имя, с которым прочно связался образ красавчика-миллиардера, недаром в шестидесятые годы его прозвали плейбоем номер один во всем западном мире. Знаменитые манекенщицы, самые лучшие и самые модные курорты, “феррари”, Багамы и целый рой молоденьких красоток, которым его богатство кружило голову так, что и платы не требовалось... Собственного вкуса и мнения у американца, похоже, не имелось, он полагался на чужие взгляды и суждения, нуждался в гарантии привлекательности. Если в ту пору столько мужчин вздыхало по Мэрилин Монро, то только потому, что по ней вздыхало столько других мужчин.

В последний же раз я видел Джима Дули в 1963 году, в имении промышленного магната Тьебона недалеко от Оспедалетти, где я гостил несколько дней. Лучшего частного пляжа, наверно, нет на всем итальянском Средиземноморье. Гостей было человек двадцать. Сам Тьебон, хоть ему уже стукнуло шесть-

десять восемь, а может, как раз поэтому, всю старался показать, как здорово он катается на водных лыжах. С невероятной легкостью выписывал он вензеля на волнах и, мало того, одновременно, наплевав на бремя лет и законы природы, играл в бильбоке — мы глядели на такое феноменальное мастерство, открыв рты. Все было бы замечательно, если бы не одна досадная деталь. Наш хозяин давал свои представления в девять утра, и всем гостям полагалось на них присутствовать. Отказаться от приглашения значило бы поступить неучтиво и даже жестоко. И вот мы всей оравой тащились на пляж и аплодировали подвигам престарелого спортсмена. Лысый, тощий, нос крючком, он отплясывал перед нами на воде и лихорадочно подкидывал и ловил шарик деревянной чашечкой, только балетной пачки не хватало для полноты картины. Какой-то кошмар в духе Гойи. Смешное и жалкое зрелище. Но гости добросовестно восхищались:

— Ай, молодец! Прямо юноша!

— Изумительно!

— И не поверишь, что ему почти семьдесят!

— Подумать только: во времена Мольера мужчина в сорок лет считался старой развалиной.

— Поразительный, поразительный человек, я всегда говорил: другого такого нет на свете!

Только один нахальный юнец лет двадцати ехидно промурлыкал:

— Э-то есть на-аш после-едний...

И вот однажды утром к нашей компании присоединился Дули, он приехал накануне. Все такой же невозмутимый красавец с буйной шевелюрой, он стоял в кимоно, обнимал за талию очередную ки-

нозвезду, которую прихватил с собой для развлечения, и молча глядел на трюки молодящегося старикана — тот несся по воде спиной к берегу, задрав ногу, одной рукой держась за веревку, другой играя в бильбоке, и время от времени ловко поворачивался на 360 градусов.

— *Poor son of a bitch*, — усмехнулся Дули. — То-то смерть потешается, на него глядя. Верно, уж сто лет, как не мужик. Вот и ищет замену. Тошно смотреть. *Shit!*¹

И ушел.

Вскоре образ красавчика-миллиардера, постоянно мелькавший в светской хронике и на страницах глянцевого журналов на фоне раззолоченных интерьеров и пышных фейерверков старой Европы, несущейся в вихре нескончаемого праздника к скорому концу, начал быстро тускнеть. Год или два о нем просто ничего не было слышно. Потом его имя снова появилось в прессе, но теперь уже в других рубриках и изданиях, например в “Файнэншл таймс” или “Уолл-стрит джорнал”, — в скупых, петитом набранных заметках, однако сама эта неброскость, подобно строгим английским костюмам с Севил-роу, служила клеймом высшей пробы для крупных дельцов, которые то поднимались, то опускались на волнах безбрежного, доселе невиданного в западном мире океана благоденствия. И с тем же рвением, с той же волей к победе, какие он обнаружил в гонках по бобслею, он ввязался в чемпионат Европы по процветанию и успеху. Потревожив мирный сон пылившихся в американском банке отцовских миллиардов, он вложил их в беспроигрышные

1 Жалкий сукин сын... Тьфу! (англ.)

бурные игры транснациональных компаний и приумножил; эти его достижения были отмечены в специальном номере журнала “Форчун”, посвященном американским инвестициям в европейскую экономику. К 1970 году диапазон его деловых интересов был так велик, что, как писали в “Шпигеле”, “стоило кому-нибудь попытаться скупить акции какой-нибудь компании, как у него на пути неминуемо возникала фигура Джима С. Дули”. Вместе с одной крупной франкфуртской фирмой он открыл банк в Швейцарии, который уже спустя два года контролировал “золотой треугольник” немецкого рынка недвижимости: Гамбург — Дюссельдорф — Франкфурт. Внезапное массовое изъятие денег со счетов, которое спровоцировало падение кельнского банка “Херштатт” и доконало империю Герлинга, скорее всего — хотя эти слухи официально опровергались, — было делом рук Дули, причем тщательно спланированным делом, недаром левая пресса открыто называла его “акулой дикого капитализма”. Я уже стал жалеть, что не познакомился с американцем поближе. Неимоверная финансовая мощь притягивала меня как магнит, и хоть я понимал, что мне — такому, каким я сам себя видел, — эта тяга не к лицу, противиться ей не мог. А еще я заметил, что банкиры говорили о Дули бесстрастным тоном и воздерживались от всяких оценок его действий — верный признак того, что на финансовый небосвод взошла звезда первой величины.

Вообще в те годы — примерно с шестьдесят второго по семидесятый — над Европой словно опрокинулся рог изобилия, экономическому процветанию не предвиделось конца, и благодаря этому затяжному

золотому дождю богатство стало почитаться высочайшей нравственной и чуть ли не духовной ценностью, чего не было со времен расцвета крупной буржуазии в девятнадцатом веке. Помню, как-то на приеме после заседания Совета Европы я услышал из уст супруги одного из европейских послов, побывавшей в Китае, потрясающее суждение. “Коммунизм, — сказала она, — годится только для бедных”. Римский клуб тогда еще не обнародовал своих апокалиптических прогнозов. Производство автомобилей было на подъеме. Кредитов — бери не хочу. Нефти — в избытке. Франция стала местом выгодных вложений. Строительство роскошных поселков вроде “Провансальской Венеции” Пор-Гримо приносило миллиардные доходы инвесторам, а у тех, кто раньше глотал слюнки, читая про бриллианты, подаренные Ричардом Бертоном Элизабет Тейлор, несметные состояния Онасиса и Ниаркоса или конюшни Буссака и Вильденштейна, появились новые предметы вожделения. Дела моих бумажных и фарнерных фабрик и моего художественного издательства тоже шли в гору, и я собирался учредить Европейский книжный клуб, для чего требовался начальный капитал в четыре миллиарда.

То, что записной бабник превратился в международного магната, меня не удивляло. Страсть к завоеваниям не проходит с возрастом, меняются только ее объекты, поэтому нередко с убыванием физической силы крепнет деловая хватка. Взять, к примеру, Джанни Аньелли: на шестом десятке лет он попал в аварию, после чего так энергично, пылко и с таким упорством взялся за семейный бизнес, что очень скоро превратил “Фиат” в промышленный гигант,

один из лидеров растущей европейской индустрии. А его ровесник Пиньятари, в свое время прославившийся любовными победами на весь Париж и Рим, переключился на медные рудники и, поражая соплеменников-бразильцев непреклонной волей, добился немалых успехов. Пятьдесят лет — критический возраст, когда мужчина ищет новые поприща, дабы обеспечить себе устойчивое положение, которое не зависит от гормональных спадов.

В 1971 году мне попало на глаза в одном журнале интервью с Джимом Дули, из которого явствовало, что он намерен выпрямить Пизанскую башню. Если только это не было злой шуткой журналистки, некой Клары Фоскарини. По ее словам, американец заявил, что просто укрепить башню, чтобы она не рухнула, недостаточно, что человеческий разум при помощи современной науки способен одолеть безжалостное время и силу тяжести. Джим Дули, писала Фоскарини, позвонил ей в два часа ночи, как будто дело не терпело отлагательства, добрых полчаса излагал свою идею и выказал готовность лично финансировать работы. В конце статьи журналистка замечала, что возможности науки и техники все же ограничены — например, запах виски не передается по телефону.

Мысль выпрямить Пизанскую башню насмешила всю Италию, а Дули выступил с публичным опровержением: он-де ничего такого не говорил, а только хотел предложить итальянским властям объявить конкурс на лучшее инженерное решение, которое позволило бы предотвратить падение памятника.